

ЛАЛЕ АРСЛАН

*Пока цветёт
чуждино дерево*

Ялы на Босфоре · книга первая

Лале Арслан

Пока цветёт иудино дерево

«Автор»

2026

Арслан Л.

Пока цветёт иудино дерево / Л. Арслан — «Автор», 2026

Зейнеп шьёт свадебные платья в старом Балате и никогда не берёт чужого. Но когда ей заказывают платье для невесты наследника империи Демирхан, она соглашается: матери нужна операция. В доме на Босфоре её встречает холодный Керем Демирхан, а на стене его кабинета висит шёлк с узором, который нарисовал её погибший отец. Чем ближе чужая свадьба, тем сильнее трещит тишина, которую пятнадцать лет хранили в этом доме. Роман для тех, кто любит турецкие сериалы: неспешную любовь, взгляды вместо слов, семейные тайны и Стамбул, который чувствуешь кожей.

© Арслан Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Шёлк	6
Глава 2. Ялы	11
Глава 3. Взгляд	16
Глава 4. Эмир	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Лале Арслан

Пока цветёт иудино дерево

Лале Арслан

Пока цветёт иудино дерево

Серия «Ялы на Босфоре». Книга первая

* * *

Глава 1. Шёлк

Азан пришёл в Балат раньше света. Он поднялся от мечети у воды, протёк по крутой улице между розовыми и охристыми домами, качнул верёвки с бельём, перекинутые от балкона к балкону, и вошёл в открытое окно второго этажа, где Зейнеп Йылмаз третий час сидела над подолом чужого счастья.

Лампа под зелёным абажуром давала круг света величиной с обеденный поднос. В этот круг помещались её руки, кусок белого атласа и игла. Всё остальное, манекен в углу, старая «Зингер» с облезлыми золотыми буквами, полки с катушками, стопка счетов под чугунным утюгом, тонуло в синеве, которая бывает только перед рассветом, когда Золотой Рог ещё не решил, каким ему быть сегодня.

Зейнеп сделала последний стежок, закрепила нитку и перекусила её зубами. Мать сто раз говорила, что так портят эмаль. Отец, она помнила, тоже так делал. Он говорил, что ножницы слишком далеко, а нитка нетерпелива.

Платье предназначалось Айсель, дочке бакалейщика с соседней улицы. Свадьба в субботу, жених из Ускюдара, денег у семьи немного, поэтому кружево по вороту Зейнеп сплела сама, по вечерам, из шёлковой нити, которая осталась от чужого, богатого заказа. Айсель об этом не знала. Ей незачем было знать.

Девушка встала, разогнула спину, и позвонки отозвались, как ступени в старом доме. На груди качнулось отцовское кольцо на тонкой цепочке, серебряное, с тёмным агатом, слишком большое для любого её пальца. Оно коснулось ключицы холодом, и она по привычке накрыла его ладонью.

За занавеской, отделявшей мастерскую от маленькой спальни, закашляла мать.

Кашель был глухой, осторожный, как будто его старались спрятать в подушку. Зейнеп подождала. Кашель стих, скрипнула кровать, потом зашуршала бумага. Она знала этот звук: блистер, из которого выдавливают таблетку.

— Анне, ты не спишь?

— Сплю, — сказала мать из-за занавески тем голосом, каким говорят «не входи». — А ты почему не спишь, кызым? Ты опять всю ночь просидела?

— Платье Айсель готово.

— Машаллах. Ложись хоть на час.

Занавеска шевельнулась, и Мелек-ханым вышла в мастерскую, на ходу запахивая старый вязанный жакет. Пятьдесят два года, а со спины её всё ещё принимали за девушку: тонкая, прямая, волосы, которые она до сих пор не позволяла себе остричь, собраны в низкий узел. Только лицо под утро становилось серым, будто на него оседала пыль с той улицы, которую она никогда не называла.

Правая рука матери скользнула в карман жакета и там осталась.

Зейнеп сделала вид, что не заметила. Они обе давно научились этому танцу: одна прячет, другая не видит. Так было легче им обоим.

— Я поставлю чай, — сказала мать.

— Я сама.

— Сиди. Ты уже всё сделала, что могла, теперь моя очередь.

Чайник на две части, большой снизу для кипятка и маленький сверху для заварки, загудел на плитке. Запах пошёл густой, тёмный, с ноткой бергамота, который Хаджи-амджа подмешивал в свой чай «для тех, кого любит». Мелек-ханым достала два стаканчика-гюльпана, тонких, с позолотой по краю, единственное, что уцелело от сервиза, подаренного на свадьбу. Остальное разбилось за пятнадцать лет вдовства, по одному предмету, как будто дом медленно отдавал долги.

Они пили чай у окна. Внизу, на улице, просыпался Балат. Хозяин пекарни выставил на прилавок первую корзину симитов, и запах кунжута поднялся к ним раньше, чем голоса. Где-то хлопнула ставня. Кошка, рыжая и одноухая, прошла по перилам балкона напротив с видом хозяйки квартала. Над Золотым Рогом протянулась первая розовая полоса, и вода под ней сделалась перламутровой, как изнанка раковины.

— Красиво, — сказала Зейнеп.

— Красиво, — согласилась мать и снова закашлялась, отвернувшись к стене.

На полке над машинкой стоял детский альбом Зейнеп в коленкоровой обложке, выцветшей до цвета чая с молоком. Она не открывала его годами. Там отец рисовал для неё цветы, когда она болела: каждое утро новый, акварелью, с подписью, как зовут цветок и откуда он родом. Последний рисунок остался недорисованным. Лиловая ветка, у которой не хватило трёх лепестков.

Зейнеп посмотрела на альбом, потом на стопку счетов под утюгом. Сверху лежал счёт из кардиологического центра, со штампом «повторно» красными буквами.

* * *

К восьми она спустилась вниз, в лавку Хаджи-амджи.

Лавка помещалась под их квартирой и пахла всем сразу: молотым кофе, сушёным чабрецом, мылом из оливкового масла, старыми газетами и немного кошкой. Хаджи-амджа торговал всем, что могло понадобиться человеку от рождения до похорон, и держал в долговой тетради половину квартала. Страница семьи Йылмаз давно перешла на вторую.

— Доброе утро, дочка, — сказал старик, не поднимая глаз от джезве, где на углях поднималась кофейная пена. — Сядь. Сегодня я тебе погадаю.

— Амджа, мне некогда, я несу платье Айсель.

— Айсель подождёт. Невесты всегда ждут, это их последняя свобода.

Зейнеп засмеялась и села на низкую табуретку у прилавка. Восемьдесят лет, усы белые, как пена в джезве, глаза хитрые и мокрые от старости. Он дружил с её отцом. Когда Хасана не стало, именно Хаджи-амджа принёс в их дом первый мешок риса и не взял за него денег, а потом три месяца делал вид, что рис сам заводится у них в кладовой.

Он налил кофе в маленькую чашку, пододвинул ей стакан воды.

— Пей. Только не торопись, думай о чём-нибудь хорошем.

Кофе был горький и густой. Зейнеп думала о деньгах, потому что о хорошем не получалось. Она допила, перевернула чашку на блюдце, как полагается, и положила сверху монетку, чтобы гуща остыла.

Хаджи-амджа долго крутил чашку в узловатых пальцах, шурился, цокал языком.

— Вижу воду, — сказал он наконец. — Много воды. И дом на этой воде, деревянный, старый. Он скрипит, этот дом. И человека вижу.

— Какого человека?

— Мужчину. Он стоит на коленях.

— Амджа!

— Не делай такие глаза. Он не предложение делает. Он поднимает с пола то, что ты уронишь. — Старик поставил чашку и вытер пальцы о фартук. — А что ты уронишь, не видно. Гуща тоже не всё говорит. Иди, носи своё платье.

На пороге Зейнеп едва не столкнулась с Гюль. Подруга летела вниз по улице в форменном фартуке кафе с набережной, с телефоном в одной руке и надкушенным симитом в другой, и кудри у неё подпрыгивали, как пружины в старом матрасе.

— Зейнеп! Ты слышала? Нет, ты ничего не слышала, ты вообще ничего не слышишь, кроме своей машинки. У нас вчера сидел турист, датчанин, вот такой высокий, и он спросил у меня, как пройти к Святому Стефану, а я ему показала, и он сказал, что у меня глаза как у...

— Как у кого?

— Не знаю, он сказал по-датски. Но звучало очень хорошо. — Гюль откусила симит и заговорила с набитым ртом. — Вечером зайду. Расскажешь, почему у тебя такое лицо.

— Какое?

— Как будто ты опять не спала и считала деньги.

И умчалась, оставив за собой запах кунжута и духов, купленных на рынке за двадцать лир.

* * *

Машина приехала в полдень.

Это была большая чёрная машина с затемнёнными стёклами, и она, разумеется, не смогла подняться по их улице. Улицы Балата строили для ослов и для людей с крепкими ногами. Машина постояла внизу, у мечети, мигая аварийкой, к радости мальчишек, а потом из неё вышла женщина в сером костюме и пошла наверх пешком.

Зейнеп увидела её из окна. Женщина шла осторожно, на каблуках, по мокрой брусчатке, прижимая к груди кожаную папку. На середине подъёма остановилась, вытерла лоб платком. Старухи на скамейке у фонтана проводили её взглядами, в которых было всё, что Балат думает о серых костюмах.

Через пять минут в дверь постучали.

— Зейнеп Йылмаз? — Женщина дышала часто и улыбалась профессиональной улыбкой, которая держалась на одном усилии воли. — Меня зовут Дениз Озер, я помощница семьи Демирхан. Можно войти?

Зейнеп отступила, пропуская её. Мать ушла в аптеку. В мастерской пахло утюгом и паром, на манекене висело почти готовое платье Айсель, которое Зейнеп всё-таки решила подшить ещё на полсантиметра.

Дениз-ханым огляделась. Взгляд её прошёл по облупленному подоконнику, по тазу под протекающей трубой, по старой машинке и задержался на кружеве у ворота.

— Это вы сплели?

— Я.

— Вручную?

— Как же ещё.

Помощница кивнула, будто что-то сверила внутри себя, и открыла папку.

— Вы шили платье для Эсры Тюркер в прошлом году. Нишанташи, свадьба в «Чыраган». Семья Демирхан была среди гостей. Госпожа Фюсун Демирхан запомнила вышивку. Она потом долго искала, кто это сделал. Эсра-ханым не хотела говорить, вы понимаете, хорошая портниха как хороший врач, её не отдают.

Зейнеп помнила Эсру. Капризная, красивая, четыре примерки сверх оговорённых, и в конце бутылка дорогих духов вместо доплаты.

— Семья хочет свадебное платье ручной работы, — продолжала Дениз-ханым. — Для невесты старшего сына. Свадьба в середине мая, в ялы семьи, в Канлыдже. Госпожа Фюсун желает, чтобы свадьба была, пока цветёт эргуван. Это семейная традиция. Сроки сжатые, мы понимаем. Поэтому оплата соответствующая.

Она назвала сумму.

Зейнеп ничего не ответила. Она смотрела на листок, который ей протянули, и цифры на нём не помещались в голове. Это были деньги за операцию матери, о которой кардиолог говорил «пока можно подождать» таким тоном, каким говорят «нельзя ждать». И ещё долги Хаджи-амдже, обе страницы его тетради.

— Аванс сразу после подписания, — сказала помощница мягче, будто прочитала что-то на её лице. — Примерки в ялы, по пятницам. Невеста занята, к вам ездить ей сложно. Паром из Эминёню, потом наш водитель встретит вас в Ускюдаре.

— Мне нужно подумать.

— Конечно. — Дениз-ханым положила на край стола договор в прозрачной папке и визитку. — До пятницы, если можно. Госпожа Фюсун не любит ждать.

В этот момент открылась дверь, и вошла мать.

Мелек-ханым несла бумажный пакет из аптеки. Она остановилась на пороге, увидела чужую женщину в сером костюме, кожаную папку, и вежливое «добро пожаловать» уже было у неё на губах, когда Дениз-ханым поднялась и представилась.

— ...помощница семьи Демирхан.

Пакет не упал. Мать держала его так крепко, что бумага смялась под пальцами. Лицо у неё сделалось ровным и белым, как полотно, которое ещё не начали кроить.

— Мы не шьём для этой семьи, — сказала она.

— Анне...

— Мы не шьём, — повторила Мелек-ханым, глядя мимо дочери, прямо на помощницу. — Простите, что вам пришлось подниматься. У нас крутая улица. Спускаться будет легче.

Дениз-ханым была профессионалом. Она улыбнулась, попрощалась, договор и визитку на столе не тронула. Её каблуки ещё долго стучали по брусчатке вниз, всё тише и тише.

Мать поставила пакет на стол. Руки у неё дрожали, и она спрятала их под жакет.

— Почему? — спросила Зейнеп.

— Потому что я так сказала.

— Анне, ты знаешь, сколько они платят?

— Знаю, — сказала мать, и это было страшнее любого крика. — Я знаю, сколько платят Демирханы, кызым. Есть дома, куда нашим ногам дороги нет. Не спрашивай меня больше.

Она ушла за занавеску. Зейнеп слышала, как она садится на кровать, как снова шуршит блистер.

* * *

Вечером пришла Гюль, принесла остывшие пончики из кафе и новости про датчанина, который оказался женат. Зейнеп слушала вполуха. Мать спала, или делала вид, что спит.

Когда подруга ушла, Зейнеп долго сидела на подоконнике. Внизу горели фонари, по Золотому Рогу ползли огни лодок, с той стороны воды отвечали огни Хаскёя. Ветер принёс запах водорослей, мокрого камня и чьего-то ужина, жареного перца и лука. На балконе напротив соседка снимала бельё, и простыни в темноте белели, как паруса.

Она вспомнила, как отец сажал её на этот подоконник и показывал огни. «Каждый огонь — это чей-то дом, Зейнеп. Там тоже кто-то не спит и думает». Ей было восемь. Через год его не стало, и никто так и не объяснил ей толком, как это вышло. Пожар на фабрике, ночная смена, несчастный случай. Мать каждый раз сжимала губы и уходила на кухню.

Зейнеп слезла с подоконника, достала из-под утюга счета и разложила их на столе. Потом положила рядом договор.

Она читала его при свете лампы, медленно, пункт за пунктом. Сроки, примерки, материалы за счёт заказчика, сумма, аванс. На последней странице оставалось пустое место для её подписи. Напротив, со стороны заказчика, уже стояла чужая, размашистая, синими чернилами.

Подпись она толком не разглядела. Ей было не до неё.

Она думала о матери, о красном штампе «повторно», о голосе кардиолога. Отцовское кольцо качнулось на цепочке и легло на бумагу, тёмным агатом прямо на строчку «аванс».

Зейнеп взяла ручку и расписалась.

* * *

Утром она отнесла копию в офис компании на Левенте, отдала её секретарю на первом этаже и спустилась в метро с конвертом аванса во внутреннем кармане пальто. Всю дорогу ей казалось, что конверт прожигает подкладку.

В кардиологическом центре она заплатила по счёту со штампом. У Хаджи-амджи закрыла первую страницу долговой тетради. Старик посмотрел на деньги, потом на неё, и ничего не спросил, только налил ей чаю в лучший стакан.

Домой она пришла к вечеру, уставшая так, что ноги гудели. Мать была на кухне. Пахло чечевичным супом и мятой.

Зейнеп сняла пальто, повесила его на крючок и только потом вспомнила, что второй экземпляр договора остался в кармане. Она хотела переложить его в корзинку с тканями, под отрезы, туда, куда мать не заглядывает. Но мать позвала её к столу, и папка так и осталась торчать из кармана, белым углом наружу.

Они ели молча. Суп был горячий, мать нарезала лимон тонкими дольками и положила дочери в тарелку, как в детстве.

— Ты сегодня поздно, — сказала Мелек-ханым.

— Ездила по делам.

— По каким?

— По нашим, анне.

Мать посмотрела на неё долгим взглядом, но промолчала. Встала, налила чай в два стаканчика-тюльпана, понесла их к столу. По дороге задела плечом пальто на крючке. Пальто качнулось, и прозрачная папка выскользнула из кармана на пол, раскрывшись на последней странице.

Мелек-ханым наклонилась её поднять. С одним стаканом в руке, со вторым, поставленным на край стола. Медленно, как наклоняются люди с больным сердцем.

Зейнеп видела, как мать смотрит на бумагу. На её подпись, свежую, ещё не высохшую в памяти. Потом взгляд матери сдвинулся вправо, туда, где синими чернилами, размашисто, с длинным хвостом у последней буквы, стояло: «Керем Демирхан».

Стакан выскользнул из её пальцев.

Он упал на каменный пол и разбился с тонким, почти музыкальным звоном, и горячий чай побежал тёмной лужицей к ножке стола, к корзинке с тканями, к белому краю атласа, который свисал из неё до самого пола.

Мать даже не посмотрела вниз.

— Кто тебе разрешил, — прошептала она. Голос у неё не поднялся на последнем слове, как поднимается у тех, кто спрашивает.

* * *

Глава 2. Ялы

Три дня мать с ней не разговаривала.

Она готовила еду, ставила тарелку перед дочерью, гладила её блузки, по утрам заваривала чай, как всегда, на двоих. Но слова кончились, будто их вымели вместе с осколками того стакана. Зейнеп пробовала заговорить первой, и каждый раз мать поднимала на неё глаза, полные такого усталого горя, что продолжать не хватало сил.

В четверг вечером, когда Зейнеп складывала в сумку сантиметровую ленту, мел и старую жестяную коробку с булавками, Мелек-ханым остановилась у неё за спиной.

— Не смотри им в глаза, — сказала она тихо. — И не рассказывай, чья ты дочь.

— Почему, анне?

Мать не ответила. Положила ей на плечо руку, сухую и тёплую, подержала немного и ушла за занавеску.

Коробка была из-под лукума, синяя, с полустёртой розой на крышке. Отец когда-то купил в ней лукум на Египетском базаре, они съели его втроём за один вечер, а коробку он отдал матери под булавки. С тех пор булавки жили там, сотни, тонкие, с цветными стеклянными головками, и гремели внутри, как сухой горох, когда коробку встряхивали.

* * *

Паром отходил из Эминёню в восемь сорок.

Зейнеп пришла рано и долго стояла на причале, глядя, как над водой кружат чайки. Пахло мазутом, жареной рыбой из лодок под Галатским мостом и солью, которую ветер приносил с Мраморного моря. Продавец симитов кричал нараспев, лоток у него на голове держался, как корона. Студенты курили у турникетов. Старик в вязаной шапке кормил голубей из бумажного кулька и разговаривал с ними, как с внуками.

Она не была на азиатском берегу с детства. Отец возил её туда однажды, в Бейлербей, есть мороженое. Она помнила только вкус клубники и то, как он нёс её на плечах вдоль воды.

Паром загудел, протяжно и низко, и этот звук прошёл через доски причала ей в подошвы. Зейнеп поднялась на борт, нашла место у окна на верхней палубе. Мальчик-официант с подносом, на котором звенели стаканчики, протиснулся между скамейками, и она взяла чай. Горячее стекло обожгло пальцы. Она держала его за тонкую талию, кончиками, как учил отец, и смотрела, как отдаляется европейский берег.

Сулеймание на холме, тонкие минареты, крыши, по которым скользило утреннее солнце. Потом паром развернулся, и перед ней открылся Босфор.

Вода была синей, но там, где падала тень от облаков, становилась почти чёрной, а у берегов зеленоватой и прозрачной. На склонах обоих берегов, среди старых домов и кипарисов, лиловыми облаками стояли деревья эргувана. Их было так много, что казалось, кто-то пролил на холмы краску и не стал вытирать.

Чай остыл. Зейнеп так и не отпила.

Чайка села на перила прямо перед ней и посмотрела одним глазом, требовательно. Зейнеп отломил кусочек симита из сумки и протянула на ладони. Птица схватила его и сорвалась вниз, к воде, где её ждали сёстры.

* * *

Водителя звали Рамазан-эфенди, он был немолод, молчалив и пах дорогим одеколоном, который ему, видимо, подарили хозяева. Машина ехала вдоль берега, мимо Бейлербея, мимо рыбных ресторанов Ченгелькёя, где официанты раскладывали на льду лаврака и барабульку, мимо мечетей и маленьких причалов с лодками, раскрашенными в синий и красный.

— Канлыджа, — сказал Рамазан-эфенди, впервые открыв рот. — Здесь лучший йогурт на Босфоре. С сахарной пудрой. Попробуйте как-нибудь.

Ялы стоял у самой воды, на каменном основании, о которое тихо плескались волны. Трёх-этажный, деревянный, выкрашенный в цвет старого граната, с белыми резными наличниками и эркерами, нависавшими над водой. Окон было столько, что Зейнеп сбилась со счёта. Старое дерево на солнце отливало то бурым, то винным. С одной стороны к дому примыкал лодочный элинг с низкими арками, с другой поднимался по склону сад, и в этом саду, над стеной, над крышей беседки, над мраморной террасой цвели эргуваны.

Их ветви гнулись от цветов. Лепестки, мелкие, как ноготки ребёнка, лежали на ступенях, на дорожке, на воде у причала. Воздух был тяжёлый и сладкий от них, смешанный с запахом нагретого дерева и моря.

Зейнеп остановилась у калитки. Прижала к груди сумку, в которой звякнула жестяная коробка.

Её встретила экономка, полная женщина в синем платье с белым воротничком, назвавшаяся Шюкран-ханым. Она провела гостью через сад, по дорожке, выложенной галькой, мимо фонтана, где в чаше плавали лепестки, и вверх на мраморную террасу.

Там, в плетёном кресле, лицом к воде, сидела старая женщина.

Она была очень худа, в платье цвета мокрого песка и в жемчуге, который носила так, будто надела его утром, не глядя, вместе с домашними туфлями. Седые волосы коротко острижены. В длинных пальцах тонкая сигарета, и дым от неё поднимался прямой ниткой, потому что ветра не было.

— Нериман-ханым, это швея, — сказала экономка.

Старуха повернула голову. Глаза у неё были светлые, почти прозрачные, как вода у берега, и они прошли по Зейнеп снизу вверх, не торопясь: по стоптанным туфлям, по юбке, по рукам, которые держали сумку, по лицу.

— Ты приплыла на пароме, — сказала она.

— Да, ханым-эфенди.

— Хорошо. Кто приходит по воде, тот задерживается. Дорога через мост ничего не значит, её забываешь, едва проехал. — Она затянулась и выпустила дым в сторону эргуванов. — Как тебя зовут, швея?

— Зейнеп.

— А дальше?

Зейнеп вспомнила слова матери. Помедлила одно мгновение.

— Зейнеп Йылмаз.

В лице старухи ничего не изменилось. Только пепел на кончике сигареты стал длинным и сломался сам, упав ей на колени. Она не стряхнула его.

— Иди, Зейнеп Йылмаз. Тебя ждут наверху. Моя невестка не любит, когда опаздывают, даже если опаздывают на её собственные часы.

* * *

Фюсун-ханым встретила её в малой гостиной на втором этаже. Высокая, светлая, в кремовом шёлковом костюме, который сидел на ней без единой морщинки. Зейнеп машинально оценила крой: итальянский, сделанный по фигуре, рукав вшит идеально. Женщина, которая так одевается, замечает всё.

Она протянула руку, и Зейнеп пожала холодные пальцы с тяжёлым кольцом.

— Покажите ваши руки, — сказала Фюсун-ханым.

Зейнеп протянула ладони. Хозяйка посмотрела на исколотые подушечки пальцев, на мозоль от напёрстка, на короткие ногти без лака. Кивнула.

— Руки работницы. Это хорошо. Я не доверяю швеям с маникюром. — Она отошла к окну. — Платье должно быть безупречным. Его увидят четыреста человек. Его сфотографируют для журналов. На этой свадьбе будет решаться больше, чем вы можете себе представить, девушка. Ипек!

Невеста вошла из соседней комнаты. Двадцать восемь лет, тёмные волосы гладко зачёсаны, лицо тонкое и умное, на скулах ни следа румянца. Она улыбнулась Зейнеп вежливо и устало, как улыбаются в конце долгого приёма.

Примерка заняла два часа. Зейнеп снимала мерки, записывала цифры в тетрадь, показывала эскизы, которые набросала за неделю: узкий лиф, длинный рукав из кружева, вышивка по подолу. Фюсун-ханым правила, указывала, морщилась. Ипек стояла на низкой табуретке посреди комнаты и почти всё время смотрела в окно, на воду.

— Вам нравится? — спросила Зейнеп тихо, когда хозяйка вышла ответить на звонок.

Ипек перевела на неё взгляд, как будто вернулась откуда-то издалека.

— Платье? Да. Очень.

— А что вы хотите сами?

Невеста долго молчала. По Босфору проплыл танкер, огромный, ржавый, и тень от него прошла по потолку комнаты.

— Чтобы рукава не кололись, — сказала она наконец и улыбнулась уже по-настоящему, коротко, уголком рта. — Это можно?

— Это можно.

Она взяла руку невесты, чтобы измерить запястье, и почувствовала, какая она холодная, хотя в комнате было тепло от солнца. Пальцы Ипек лежали в её ладони неподвижно, послушно, и только безымянный, тот, на котором блестело помолвочное кольцо с крупным камнем, чуть вздрагивал, когда лента касалась кожи. Зейнеп записала цифру. Потом, не поднимая глаз, сказала, что подкладку в рукавах сделает из самого мягкого батиста, какой найдёт на Махмутпаше, а швы обработает вручную, изнутри, чтобы ни одна нитка не царапала.

— Вы всем невестам это обещаете? — спросила Ипек.

— Только тем, кто просит.

Невеста посмотрела на неё сверху, с табуретки, долгим взглядом, в котором впервые появилось любопытство. Потом вернулась Фюсун-ханым, и взгляд погас, будто кто-то задёрнул занавеску.

* * *

Коридор третьего этажа был длинный, узкий и сумрачный. Окна выходили на воду, свет падал сквозь старые стёкла с пузырьками воздуха внутри, и от этого на полу лежали дрожащие пятна, как блики на дне бассейна. Пол скрипел под ногами. Пахло воском, старым деревом и розовым маслом, которым, наверное, натирали двери.

Шюкран-ханым велела ей подождать в кабинете в конце коридора: госпожа Фюсун хотела, чтобы швея посмотрела образцы шёлка с фабрики, а их принесут туда.

Зейнеп шла, прижимая к себе сумку и раскрытую жестяную коробку, в которую на ходу пересыпала булавки из подушечки. Она торопилась. Она всегда торопилась, когда нервничала.

Из боковой двери вышел мужчина.

Она не успела остановиться. Плечом в плечо, и коробка вылетела из её пальцев, ударилась о паркет, крышка отскочила, и сотни булавок рассыпались по полу с сухим стеклянным шорохом. Цветные головки покатались во все стороны, в щели между досками, под ковровую дорожку, к плинтусам.

— Простите, — сказала Зейнеп, и голос у неё сел.

Мужчина ничего не ответил.

Он был высокий, в тёмном костюме без галстука, ворот белой рубашки расстёгнут. Лет тридцати с небольшим. Тёмные волосы, коротко остриженные, и лицо, которое было бы красивым, если бы позволило себе хоть одно лишнее движение. Он смотрел на рассыпанные булавки, и между бровей у него лежала складка, глубокая, давно привыкшая к своему месту.

Потом он опустил на одно колено.

Зейнеп застыла. Она смотрела, как этот человек в костюме, который стоил, наверное, больше их годовой аренды, стоит на коленях на скрипучем паркете и собирает её булавки. По одной. Брал двумя пальцами за стеклянную головку, клал на ладонь левой руки. Не торопился и не морщился. Красную. Синюю. Ещё одну красную.

«Мужчину вижу. Он поднимает с пола то, что ты уронишь».

Она наконец очнулась и тоже присела, подбирая булавки у своих ног. Их руки оказались рядом, над одной и той же щелью в полу. Его ладонь была раскрыта, полная цветных головок, и она увидела поперёк ладони старый шрам, белую неровную линию от основания большого пальца к ребру.

Он заметил её взгляд и сжал руку в кулак. Аккуратно, чтобы не уколется.

Потом высыпал булавки в её коробку, поднялся и отряхнул колено.

— Вы швея, — сказал он. Без вопроса.

— Да.

— Платье будет готово к пятнадцатому мая?

Голос был низкий, ровный, без интонаций, как у человека, который много говорит на чужом языке и разучился петь на своём.

— Если мне не будут мешать, — ответила Зейнеп и сама удивилась, как спокойно это прозвучало.

Он посмотрел на неё. Прямо, впервые. Глаза у него оказались темнее, чем она ожидала, и в них не было ни насмешки, ни снисхождения, только внимательность, тяжёлая и неудобная, как чужое пальто на плечах.

Зейнеп вспомнила: «не смотри им в глаза». И не опустила взгляда.

У него в лице шевельнулось то место, где у других людей живёт улыбка.

— Никто не будет вам мешать, — сказал он. — Это я вам обещаю.

И ушёл по коридору, не оглянувшись. Пол скрипел под его шагами всё глуше, пока на лестнице не стих совсем.

Зейнеп осталась сидеть на корточках с коробкой в руках. Одна булавка, с лиловой головкой, всё ещё лежала у самой двери, откуда он вышел. Она подобрала её и долго держала, не зная, куда положить.

* * *

Кабинет был угловой, с двумя окнами на воду. Тяжёлый письменный стол из ореха, кожаное кресло, книжные шкафы до потолка, на столе бронзовая чернильница и фотография в рамке, которую Зейнеп не стала рассматривать. Пахло табаком, старой бумагой и тем же розовым маслом. Часы на стене шли громко, с потрескиванием.

Образцов шёлка ещё не принесли.

Она поставила сумку на кресло у двери и подошла к окну. Внизу, у причала, качалась белая лодка. Чайка сидела на её носу и чистила перья. На том берегу, в Румелихисаре, на солнце светились каменные башни крепости.

Зейнеп повернулась от окна и увидела стену напротив.

Там, в широкой раме под стеклом, освещённая косым светом из окна, висела ткань. Шёлк, тяжёлый, с матовым блеском, цвета топлёного молока. По нему, от нижнего угла к верхнему, поднималась ветка эргувана. Лиловые цветы, мелкие, собранные в гроздья прямо на голой коре, как растут они только у иудина дерева. Тонкий изгиб ветви. Три листа в форме сердца, ещё свёрнутые, светло-зелёные. И на самом конце ветки, отдельно, один цветок, раскрытый, с пятью лепестками, нарисованный так, что казалось, он сейчас упадёт.

Под рамой медная табличка: «Эргуван. Демирхан Текстиль. Первая коллекция».

Зейнеп не помнила, как пересекла комнату. Она стояла перед стеклом так близко, что дыхание оседало на нём белым пятном.

Она знала этот изгиб. Знала, как ветка ломается под углом у второго узла, и что средний лист чуть больше соседних. Она видела это сто раз, лёжа с температурой в кровати, когда отец садился рядом, раскрывал её альбом в коленкоровой обложке и рисовал.

«Это эргуван, Зейнеп. Иудино дерево. Говорят, оно краснеет от стыда. А я думаю, оно просто очень любит весну».

Последняя страница альбома. Лиловая ветка, у которой не хватило трёх лепестков.

Здесь, на шёлке, на стене чужого дома, все пять лепестков были на месте.

За её спиной скрипнула дверь.

* * *

Глава 3. Взгляд

Керем вернулся в кабинет за папкой с банковскими бумагами, которую забыл на отцовском столе, и остановился на пороге.

Швея стояла перед рамой с шёлком так близко, что её дыхание туманило стекло. Сумка брошена на кресло, синяя жестяная коробка зажата в опущенной руке. Плечи прямые, как у человека, который приготовился к удару. Свет из окна падал ей на щеку, и он видел, что щека эта совершенно белая.

Дверь скрипнула у него под рукой. Девушка обернулась.

— Вам нравится? — спросил он, потому что надо было что-то сказать.

Она не ответила сразу. Пальцы свободной руки нашли что-то на груди под воротом блузки и сжали. Цепочка, понял он. На цепочке что-то тяжёлое.

— Кто это нарисовал? — спросила она.

Голос был ровный. Слишком ровный, как вода в стакане, который несут осторожно, чтобы не расплескать.

— «Эргуван», — сказал Керем. — Первая коллекция фабрики. Шестнадцать лет назад. С неё всё началось. Мой отец говорил, что до этого узора у нас были долги и три станка, а после него очередь из Милана.

— Я спросила, кто нарисовал.

Он посмотрел на табличку, как будто там мог быть ответ, и понял, что не знает. Никогда не задумывался. Узор просто был, как этот дом, как вода за окном, как имя на вывеске.

— Отдел дизайна, — сказал он. — Мои родители утверждали коллекцию. А почему вас это...

— Ни почему. — Она взяла сумку с кресла. — Красивый цветок. Простите, Керем-бей, мне пора на паром.

— Образцы шёлка сейчас принесут.

— Пусть их пришлют в ателье. Адрес у вашей помощницы есть.

Она прошла мимо него к двери, не задев, хотя проём был узкий. От неё пахло утюгом, крахмалом и чем-то горьковатым, вроде кофе. Он отступил, пропуская её, и только когда шаги затихли на лестнице, понял, что она назвала его по имени. Им никто не представлял друг друга.

Подпись на договоре, вспомнил он. Конечно.

* * *

Офис «Демирхан Текстиль» занимал три этажа стеклянной башни в Левенте. Оттуда, с двадцать шестого этажа, Стамбул выглядел так, как его любили банкиры: геометрия кварталов, серые ленты дорог, Босфор вдали, тонкий, как лезвие. Ни запахов, ни криков чаек. Керем приезжал туда к семи и уезжал к полуночи. Четыре месяца подряд.

Отец умер в феврале. Сердце, в машине, на мосту. Водитель успел остановиться у обочины, но было поздно. Керем прилетел из Лондона на следующий день, а через неделю после похорон узнал от финансового директора, что компания должна трём банкам больше, чем стоит.

Финансовым директором был его дядя.

— Не смотри на меня так, сынок, — сказал Селим Карахан на утреннем совещании, когда остальные вышли. Он сидел в кресле напротив, полный, седой, в очках без оправы, и улыбался той мягкой улыбкой, которую Керем помнил с детства. С этой улыбкой дядя когда-то учил его играть в нарды и всегда давал выиграть. — Твой отец был великим человеком. Но он был художником в душе, ты знаешь. Он верил в людей. В ткани, в станки, в честное слово. А банки верят в цифры.

— Я видел цифры.

— Тогда ты знаешь, что Аксой не будет ждать вечно. — Селим снял очки, протёр их краем галстука. — Хакан-бей готов вложиться. Он готов закрыть кредиты и войти в совет. Но он хочет гарантий, Керем. Семейных гарантий. Он хочет, чтобы его внуки носили фамилию Демирхан.

— Я помню условия.

— Ипек прекрасная девушка.

— Я знаю, дядя.

— Умная, воспитанная, из хорошей семьи. Твоя мать её обожает. — Селим надел очки, и глаза за стёклами снова стали добрыми. — Иногда любовь приходит после свадьбы. Так было у твоих родителей. Так было у меня, да простит Аллах мою покойную жену. Поверь старому человеку.

Керем смотрел в окно. Над городом стоял лёгкий туман, и солнце сквозь него было бледным, как монета на дне фонтана.

— Пятнадцатое мая, — сказал он. — Я не передумую.

— Вот и хорошо. — Дядя поднялся, похлопал его по плечу, тяжело и тепло. — Ты сын своего отца. Он бы тобой гордился.

Керем не ответил. Когда дверь за дядей закрылась, он долго сидел неподвижно, разжимая и сжимая левую руку. Шрам на ладони натянулся, отозвался тупой давней болью, как всегда в сырую погоду.

«Он бы тобой гордился».

Последний раз они говорили в декабре. Керем прилетел на два дня, по делам банка, остался ночевать в ялы. Ночью отец позвал его в кабинет. Сидел за своим ореховым столом, постаревший, с серым лицом, и вертел в пальцах стакан с остывшим чаем.

«Мне нужно, чтобы ты вернулся, сынок. Есть вещи, которые я должен исправить. Одному мне не хватит сил».

«Какие вещи, баба?»

Отец долго молчал. Потом сказал: «Старые. Очень старые. Я трус, Керем. Я пятнадцать лет был трусом».

А он, Керем, тридцати трёх лет от роду, управляющий директор лондонского фонда, вместо того чтобы спросить, сел напротив и сказал всё, что копил с восемнадцати. Что отец никогда его не слушал. Что дом этот душит. Что фабрика, ткани, узоры, мамины приёмы, дядины улыбки, всё это он ненавидит и сюда не вернётся. Что пусть исправляет сам, если умеет.

Отец не спорил. Отец только кивнул, будто ждал этого, и поставил стакан на стол.

Утром Керем улетел, не попрощавшись. Через семь недель позвонила мать.

* * *

Вечером они ужинали с Ипек в ресторане на Бебеке, за столиком у окна, который её отец бронировал для них раз в неделю, как бронируют переговорную. Внизу, у набережной, качались яхты. Официант принёс сибас в соли и разбил корку деревянным молотком, и соль осыпалась на скатерть белыми осколками.

— Мама говорит, швея дерзкая, — сказала Ипек, отщипывая хлеб.

— Чья мама?

— Твоя. Она звонила мне после примерки. Сказала, что девушка смотрит так, будто это ей заказывают платье, а не она шьёт. — Ипек улыбнулась одними губами. — Мне она понравилась.

— Почему?

— Она спросила, чего я хочу сама. — Ипек положила хлеб на край тарелки, так и не съев. — Меня об этом давно никто не спрашивал, Керем. Ты, кстати, тоже.

Он не нашёл, что ответить. Она и не ждала ответа. Они говорили потом о кредитах её отца, о списке гостей, о том, что фотографа из журнала нужно посадить подальше от дяди

Селима, потому что дядя любит давать интервью. Говорили вежливо и разумно, как два партнёра, которые уважают друг друга и не собираются друг другу лгать больше необходимого. Когда он отвёз её домой, на Етикдже, она поцеловала его в щёку и сказала «спасибо за вечер», и он подумал, что так прощаются с хорошим врачом.

* * *

В тот вечер он вернулся в Канлыджу поздно, к одиннадцати. Дом спал. На террасе горел один фонарь, и под ним, как всегда, в плетёном кресле сидела бабушка.

Нериман-ханым не спала по ночам с тех пор, как он себя помнил. Говорила, что в её возрасте сон тратят те, кому некуда торопиться. Она сидела, закутавшись в шерстяную шаль, и курила свою тонкую сигарету, и огонёк вспыхивал в темноте, когда она затягивалась.

— Садись, — сказала она, не оборачиваясь.

Он сел на мраморную ступеньку у её ног, как в детстве. Камень был холодный. Внизу, у причала, плескалась вода, и с того берега, из Румелихисара, доносилась музыка из рыбного ресторана, обрывки уда и чьего-то смеха. Пахло эргуваном. Ночью он пах сильнее, чем днём, и запах этот был сладкий, с горечью на дне, как у мёда из каштана.

— Ты устал, — сказала бабушка.

— Немного.

— Ты врёшь мне с пяти лет, Керем, и с пяти лет плохо. — Она выпустила дым. — Я сегодня видела, как ты стоял в коридоре.

Он промолчал.

— Ты стоял там, где рассыпались булавки, ещё минут пять после того, как она ушла. Шюкран думала, ты что-то потерял. Я сказала ей: оставь его, он нашёл.

— Аннеанне.

— Что? Старухе нельзя говорить? Я скоро умру, мне можно всё. — Нериман-ханым тихо засмеялась, и смех перешёл в кашель. — Ты на свою невесту за три месяца столько не смотрел, сколько на эту девочку за одну минуту. И она на тебя смотрела. Знаешь, как?

— Не знаю.

— Как человек, которому нечего у тебя просить. — Бабушка затушила сигарету о край пепельницы. — В этом доме так на тебя никто никогда не смотрел. Даже я.

Он поднял голову. Её лицо в свете фонаря было как старая карта, вся в линиях, по которым давно никто не ходил.

— Пятнадцатого мая я женюсь на Ипек, — сказал он.

— Иншаллах, — сказала Нериман-ханым тем тоном, каким говорят «посмотрим».

Она поднялась, тяжело опираясь на подлокотники, и пошла к двери. На пороге остановилась.

— Как её фамилия, ты знаешь?

— Йылмаз.

— Йылмаз, — повторила бабушка, будто пробовала слово на вкус. — В Стамбуле миллион Йылмазов. Спокойной ночи, сынок.

* * *

Он не пошёл спать.

Спустился к воде, сел на край каменного причала, свесив ноги. Босфор ночью дышал. Вода поднималась и опускалась у камней, медленно, как грудь спящего, и в ней дрожали огни обоих берегов. Прошёл последний паром на Бешикташ, освещённый, полупустой, и гудок его, низкий, долгий, отозвался где-то под рёбрами. Керем всегда любил этот звук. В Лондоне он иногда просыпался ночью, потому что ему снился паромный гудок, и потом долго лежал без сна, слушая дождь.

Он снова разжал левую ладонь. В темноте шрама не было видно, но пальцы знали его наизусть.

Ему было восемнадцать. Фабрика в Сютлюдже горела всю ночь. Он помнил запах, такой густой, что его можно было трогать. Помнил отца, который бежал к воротам без пальто. Помнил склад с железной дверью в дальнем конце двора, дверь эту, раскалённую, и свою руку на щеколде. Ему почудился стук изнутри. Он схватился за железо, не думая. Потом кто-то оторвал его от двери, отец или дядя, он так и не понял, и кричал ему в ухо, что там никого нет, там ткани, только ткани.

Ладонь заживала два месяца. Стук он потом слышал ещё много лет, во сне.

Утром сказали, что погиб один человек. Ночной художник, остался в мастерской на другом конце фабрики. Имени Керем тогда не запомнил. Ему было восемнадцать, у него горела рука, и через месяц он уехал учиться в Лондон.

Он думал об этом и не понимал, почему думает об этом сегодня.

Потом понял. Её взгляд. Она смотрела на шёлк в отцовском кабинете так, как он сам смотрел когда-то на ту железную дверь. Будто за стеклом кто-то стучит.

И она не опустила глаз. Ни в коридоре, ни в кабинете. Девушка в стоптанных туфлях, с исколотыми пальцами, с жестяной коробкой из-под лука. Смотрела ему в лицо и говорила: «Если мне не будут мешать». Он, Керем Демирхан, четыре месяца не слышал, чтобы кто-нибудь говорил с ним без расчёта. Банкиры, партнёры, юристы, мать. Даже Ипек, которая была честнее других, говорила с ним, как говорят с договором.

Он вспомнил, как она присела рядом над той щелью в полу, и её пальцы оказались в сантиметре от его ладони. Тонкие, быстрые. На указательном белая полоска мозоли от нитки. Он сжал тогда руку в кулак не из-за шрама. Ему захотелось коснуться этих пальцев, и он испугался, что сделает это.

Керем встал, отряхнул брюки и пошёл в дом.

* * *

В отцовском кабинете он не включил верхний свет. Только лампу на столе, старую, с зелёным стеклом. Её свет лёг на столешницу, на бронзовую чернильницу, на фотографию в рамке: отец и мать на палубе яхты, молодые, ветер треплет матери волосы.

Шёлк на стене в полумраке казался почти серым, и только лиловые цветы ещё светились, как угли в остывшей печке.

Керем сел в отцовское кресло. Четыре месяца он работал за этим столом, разбирал папки, подписывал бумаги, но ни разу не открывал нижний правый ящик. Ящик был заперт. Ключа не нашли ни в бумажнике отца, ни в сейфе, ни в его машине. Мать сказала: наверное, там ничего важного, старые письма. Дядя предлагал вызвать слесаря. Керем отказался. Ему казалось, что взломать этот ящик всё равно что войти к отцу в спальню без стука.

Сегодня он взял со стола бронзовую чернильницу и повернул её в руках. Тяжёлая, холодная, в форме раковины. Отец никогда не пользовался чернилами, но чернильницу эту не давал трогать никому. Однажды, лет в семь, Керем уронил её, и отец впервые в жизни на него закричал.

Крышка поддавалась туго, с неохотой. Внутри, на сухом бархатном донце, где когда-то держали чернила, лежал маленький ключ с латунной головкой.

Керем долго смотрел на него.

Потом наклонился и вставил ключ в замок. Ящик выдвинулся с тихим деревянным вздохом.

Внутри было почти пусто. Старая записная книжка в кожаном переплёте. Чётки из оливковых косточек, которые отец перебирал, когда волновался. Засохшая ветка эргувана, такая хрупкая, что от одного его дыхания с неё осыпалась лиловая пыль.

И конверт.

Плотный, кремовый, из той бумаги, на которой отец писал только самые важные письма. Запечатанный. Без марки. Отцовским почерком, крупным, с наклоном, с характерным росчерком на заглавных буквах, на нём было написано:

«Мелек Йылмаз. Лично».

Керем держал конверт в ладони, и шрам под ним горел так, будто он снова схватился за раскалённое железо.

«Йылмаз, — сказала бабушка. — В Стамбуле миллион Йылмазов».

Внизу, у причала, плеснула вода, и где-то далеко, на европейском берегу, проснулся первый азан.

* * *

Глава 4. Эмир

В ту ночь, вернувшись из Канлыджи, Зейнеп достала с полки альбом в коленкоровой обложке.

Мать уже спала. За занавеской было тихо, только иногда скрипела кровать. Зейнеп села на пол под лампой, положила альбом на колени и долго не решалась открыть, как не решаются открыть дверь в комнату, где кто-то умер.

Бумага пожелтела и пахла пылью и немного клеем. Ромашка. Мак. Гиацинт с подписью «из Голландии, но на самом деле из Турции, тюльпан тоже наш». Анемон, синий, как вечерняя вода. Под каждым рисунком отцовский почерк, мелкий и круглый, с завитком на букве «з». Она листала, и с каждой страницей ей становилось труднее дышать.

Последний лист. Лиловая ветка эргувана поднималась из нижнего угла к верхнему. Изгиб у второго узла. Три листа в форме сердца, средний больше. И на конце один цветок, где отец успел нарисовать только два лепестка из пяти, а на месте остальных остались тонкие карандашные линии, едва видные.

Внизу подпись: «Наш цветок, Зейнеп. Допишу завтра».

Он не дописал.

Она закрыла альбом, прижала его к груди и сидела так, пока не начало светать и азан не поплыл над крышами, тихий, как колыбельная.

* * *

Утром она спустилась к Хаджи-амдже.

Старик чистил медный поднос и напевал что-то из старых пластинок, фальшиво и с удовольствием. Увидев её лицо, он отложил тряпку.

— Садись. Что случилось?

— Ничего, амджа. Скажите, где работал мой отец?

Хаджи-амджа помолчал. Пожевал усы.

— Мать тебе не говорила?

— Мать мне ничего не говорит.

— Хм. — Он снова взял поднос, повертел в руках, разглядывая своё мутное отражение.

— На фабрике он работал, дочка. Ткани рисовал. В Сютлюдже, на том берегу Золотого Рога, где теперь новые дома. Хорошая была фабрика, большая. Потом сгорела.

— Чья фабрика?

— Ох, Зейнеп. Я старый человек, у меня в голове одни пословицы. — Он поставил поднос и наконец посмотрел на неё. Глаза у него были влажные и очень серьёзные. — Знаешь, что говорят? Кто ворошит угли, тот обжигает пальцы. Спроси у матери. Это её угли.

Больше она ничего от него не добила. Он налил ей чаю, положил в блюдце два кусочка сахара, как маленькой, и заговорил о соседском коте, который опять подрался с котом из пекарни.

* * *

Вторая примерка прошла быстро. Фюсун-ханым уехала на благотворительный завтрак, и в малой гостиной остались только Зейнеп, Ипек и солнечные пятна на полу. Ипек примеряла лиф из черного полотна, белёсого, сколотого булавами, и стояла смирно, разведя руки, как птица, которая сушит крылья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.